

*Классовый вопрос постсоветского феминизма,
или об отвлечении угнетенных от революционной борьбы*

Елена Гапова

...создается впечатление, что из движения за гражданские права вышло больше топ-менеджеров, чем из Гарвардской Бизнес-школы.

Дэвид Брукс, американский журналист¹

«Все уже известное всегда казалось систематическим, доказанным, имеющим практический смысл и самоочевидным для знающего. Каждая чужая (новая) система знания, наоборот, казалась противоречивой, бездоказательной, ни к чему не приложимой и надуманной или мистической», – с этой цитаты из польского философа Людвика Флека начинается Питер Бёрк свою книгу по социальной истории знания².

Отталкиваясь от обозначенной Флеком дилеммы – сложных, социально обусловленных отношений между различными системами знания, между знанием «старым» и «новым», «своим» и «чужим», освоенным и чуждым – сформулирую проблему этого текста. Однако прежде сделаю еще одну отсылку – к выступлению Джоан Скотт в связи с ситуацией, сложившейся летом 2000 г. в Программе гендерных исследований Центрального Европейского Университета в Будапеште, где вновь назначенный ректор, решив, что проводимые в рамках Программы исследования являются «неправильными», уволил директора Программы (чья квалификация, список публикаций и научная известность никем не подвергалась сомнению) и назначил другого. В связи с происшедшим феминистский теоретик Джоан Скотт поставила вопрос: «*Каким образом “гендерные исследования” производят свое знание, с какой целью и с каким результатом?*»³. Иначе говоря, что такое «гендерные исследования» как символический продукт и в какую систему социальных отношений они могут включаться.

Меня интересует подобный комплекс проблем, связанных с возникновением и развитием гендерных исследований (ГИ) как новой системы знания в постсоветском пространстве: как именно мы думаем о гендере – в каких когнитивных категориях, дисциплинарных рамках и организационных структу-

рах – и чем это обусловлено. Или другими словами – почему мы начали думать о гендере «только сейчас» (последние 15 лет), почему не думали о нем (таким образом, как сейчас) раньше, кто о нем думает больше всего, в каких отношениях находятся ГИ с тем знанием, которое производит и распространяет «постсоветская академия», или, иначе, в каких социальных отношениях находятся эти различные системы знания? Кавычки вокруг «постсоветской академии» означают, что феномен этот многообразен, включает различные институты в нескольких странах, а потому говорить можно только о некотором обобщении. Более всего мне важна та борьба за символические пространства, в которую «с необходимостью» вступили гендерные исследования на постсоветской интеллектуальной территории, и вопрос о том, результатом какого именно социального разделения эта борьба может быть. Начну с культурных свидетельств того, что, как мне кажется, требует осмысления.

В 2006 г. Центр гендерных исследований Европейского Гуманитарного Университета, который находится сейчас в Вильнюсе (куда переехал из Минска после закрытия ЕГУ белорусскими властями) проводил конференцию «Капитализм или патриархат? Гендер на постсоветском пространстве». Полученные заявки можно было разделить приблизительно на три категории, что в какой-то степени позволяет судить и о разделениях, существующих в самой дисциплине.

К первой группе относились заявки, соответствующие теме конференции и свидетельствовавшие о научной квалификации авторов. Далее очевидно выделялись те, авторы которых не занимались научными исследованиями, а были связаны, скорее, с «гендерным активизмом», третьим сектором и неправительственными организациями. Перечислив выполненные проекты (создала организацию, участвовала в конференциях по гендерному равенству, была в двухнедельной поездке в Штаты или Швецию по программе «права человека женщин»), они предлагали «рассказать о положении женщин в ...», но часто ограничивались заявлением: «Прошу пригласить меня на конференцию и оплатить участие».

Я не считаю, что этим авторам нечего сказать. Гендерные исследования выросли из практик социального активизма, связь с ними и следование в жизни их принципам предполагается для исследовательниц, которые «должны» дружить с активистками либо даже быть ими, потому что «*политическая цель... “gender studies” как раз и состоит в практической попытке изменить реальность, начав с изменения категорий, с помощью которых эта реальность конструируется и приобретает структуру...*»⁴. Вместе с тем, академия как институт по производству знания использует некоторый стандарт для представления «науки», а активистские заявки не представляли знание в той аналитической форме, которая принята на *научной конференции*. Их включение требовало другого формата, основанного на ином представлении о сущности знания, при-

знании неакадемических способов его получения и распространения, т.е. включения в «знание» того содержания, которое накапливается в культуре различными способами. Такой подход небезопасен для академии, т.к. содержит (неявные) предпосылки для ее деконструкции – а к этому любой социальный институт относится плохо.

Кроме того, эти заявки демонстрировали явную связь между проводимой их авторами гражданской деятельностью и принимаемой за само собой разумеющееся финансовой поддержкой, т.е. клиентские отношения бюрократов на зарплате, а не активистов. Их значительное количество свидетельствовало о том, что их авторы регулярно участвуют в конференциях со словом «гендер» в названии, а каким образом отличается эта от тех, что про «права человека женщин» – не все ли равно. В любом случае их повестка дня формируется кем-то другим. Отношение к конференции по ГИ как к такой, в которой может участвовать «неспециалист», есть еще одно свидетельство их необычного статуса: подобное вряд ли возможно в традиционных дисциплинах.

Третью группу составляли заявки от академических авторов, которые *полагали*, что занимаются наукой под названием «гендерные исследования», понимая под этим кто традиционные исторические, социологические или другие штудии с женщинами в качестве объекта (часто добротные, но, повторюсь, традиционные), кто любые рассуждения на тему женщин или пола, неважно, из какой теории они исходили и имели ли под собой теоретическую базу вообще. Одна соискательница, заявив тему «Образ амазонки в культуре скифов Алтая в диахроническом и синхроническом аспектах», разъяснила, каким образом она видит ее в рамках конференции по постсоветскому обществу:

Капитализм/патриархат: насколько обоснован патриархатный взгляд на статус «жены/матери» современной россиянки с позиции евразийской археологии: Патриархатное мировоззрение большой группы современных российских женщин основано на трех китах: 1. Домострое (где главной фигурой является «Государыня дома»), 2. юридическом закреплении права наследовать и распоряжаться имуществом только за мужчинами в законодательстве Московского княжества и 3. ортодоксальной православной морали, предписывающей подчинение Патриарху (отцу, мужу). Следование патриархатному мировоззрению – наиболее легкий путь стать идеальной женщиной, что и предлагает современной россиянке реклама по телевидению. Тем не менее, история, в частности древняя история комплементарных к русским этносам (мы имеем в виду идею Л.Н. Гумилева о комплементарных этносах), например скифских племен Алтая в древности, предоставляет нам многочисленные и разнообразные примеры разнообразия статуса женщин в обществе. Причем это разнообразие включало и статус женщины-воина, который категорически отрицается менталитетом современных россиян.

Авторы подобных тезисов обычно не могли понять причины отказа, полагая, что они пишут «про женщин», пишут о них «хорошо» (хвалят и вообще утверждают, что женщины и их ценности «лучше») и в соответствии с ожидаемой концепцией, что женщины угнетены и их надо освободить. Чего же боле?

Ненаучность (а не просто другая точка зрения) этих тезисов для меня очевидна: я могу ее доказать – в рамках той социальной теории, которой оперирую, однако для автора и ее коллег «по научной парадигме» (заявка пришла в одном пакете с двумя другими, от докторов наук, которые ее рекомендовали) такой очевидности нет. Социальные науки в принципе оперируют другими критериями истинности, чем естественные. В определенном смысле (социальное) знание неуниверсально и необъективно, т.к. научные аргументы являются не только научными, но и социальными феноменами: «рациональные единства, такие как суждения, аргументы или теории суть социальные единства, т.е. они являются социальными институтами или частями социальных институтов или зависят от социальных институтов»⁵. Поэтому «научная теория» в большой степени зависит от того, где и кем она произведена, а то, что будет принято за «научную истину», может рассматриваться как функция позиции говорящего в иерархии власть-знание: кто кого оценивает, т.е. кто обладает *признанным* правом устанавливать научную истину, а кто только подлежит оценке, является первостепенным вопросом.

Приведенная выше очень приблизительная «классификация» ГИ, таким образом, может быть рассмотрена в терминах обстоятельств производства знания, а не только в рациональных категориях самой науки. Такая социологическая позиция позволяет представить рассматриваемую ситуацию в структурных категориях, удобных для анализа с точки зрения политики знания, его включенности в социальные институты и его отношения к власти в той широкой перспективе, которая более всего обязана своим существованием М. Фуко и П. Бурдье. Мишель Фуко изобрел целый словарь, где использовал понятия археологии, генеалогии, режима и т.д. для обсуждения отношений между знанием и властью на различных уровнях и в различных институтах – школах, клиниках, энциклопедиях и т.д. П. Бурдье ввел понятие поля символического производства и показал, каким образом осуществляется контроль над производством интеллектуальных продуктов и как он определяется институциональными рамками. Феминистская эпистемология и постколониальные исследования расширили этот поиск, сосредоточившись на проблемах социального позиционирования исследовательниц и возможности тех, кто вынужден оперировать в установленных институциональных рамках, обладать «собственным голосом», т.е. сказать «свою правду».

Эти теории позволили взглянуть на знание по-иному и увидеть в нем средоточие власти. Организация академии, существование различных систем знания и сама его дисциплинарность; выделение базовых категорий анализа, язык

преподавания и научного письма, принципы отбора текстов для обучения и перевода, посредством которых происходит продвижение идей и идеологий и, соответственно, интересов; выбор исследовательских тем, сама постановка вопросов, в конце концов, «личность» исследователя; власть университетов (т.е. институтов знания) определять, что считается легитимным или «правильным» знанием, а что нет – суть продолжение отношений власти. Возможность увидеть стоящие за системами знания интересы продвигающих их групп позволяет поместить разговор о гендерных исследованиях в поле отношений «мы» (постсоветское пространство) и «Запад». Потому что именно оттуда пришел к нам гендер.

Непереводимая игра слов: гендерные/женские исследования и постсоветская академия

Гендер – как и секс – был у нас не всегда: он появился в конце перестройки, когда в советском еще пространстве началась смена научной парадигмы.

Мое поколение выросло в стране, которая считалась «самой читающей в мире»; иногда говорилось, что и самой образованной. Однако в конце 1980-х вместе с политической гибелью страны, в которой мы жили, была поставлена под сомнение и начала разрушаться и созданная ею огромная система производства знания. Я имею в виду не собственно распад многих научных институтов, школ и учреждений образования, связанный с экономическими проблемами, утечкой мозгов, войнами и т.д. Я говорю о предшествующей этому физическому распаду общей делигитимации, т.е. постановке под сомнение гуманитарного и социального знания, произведенного в предыдущий период.

Делигитимация выражалась, в частности, в набирающем силу к концу 1980-х убеждении, что «старое знание» было политизированным, исходящим из ходульного варианта марксизма, необъективным «с самого начала» (искомый ответ заранее подгонялся под ожидаемый и всегда, таким образом, выполнял свое собственное предсказание) или, попросту говоря, являлось неправдой, т.е. давало искаженную, не соответствующую действительности картину мира. Кроме того, в какой-то момент то знание (назовем его советским, имея в виду время, когда оно было произведено) начало рассматриваться как отсталое, не соответствующее тем научным идеям и теориям, которые не только разрабатывались в западной академии, но и, как было известно, имели широкое хождение в публичном – интеллектуальном и художественном – пространстве западного мира. В популярном советском воображении эти знания и теории были капиталом (по терминологии П. Бурдьё) современного образованного человека: знакомство с ними и оперирование ими рассматривалось как свидетельство принадлежности к развитому миру и образу жизни – где все мы

хотели находиться, но не могли по причине «социализма». Новое знание, как тогда казалось, было еще и пропуском (необходимым, но недостаточным) в тот мир.

Особое отношение к знанию частично являлось следствием того «высокого статуса культуры и науки», который был характерен для советского периода. Мне уже приходилось писать⁶, что при социализме в отсутствие рынка и сколько-нибудь значительного экономического неравенства социальное разделение было не экономического, а статусного свойства (наподобие деления на сословия при феодализме), где доступ к редким и поэтому ценным «товарам» регулировался не высокой ценой (как при классовом неравенстве), а централизованным распределением по спискам, столам заказов, льготам, категориям и т.д. «Ценными товарами», т.е. тем, что доступно не всем, могли быть как вещи, так и культурные события, например, театральные премьеры, поездки, путешествия и т.д. Не собственно деньги, за которые трудно было что-то купить, а возможность (иногда бесплатного) доступа к материальным и символическим ресурсам являлась и вознаграждением, и показателем статуса его обладателя. Поэтому, например, в позднесоветском обществе такое большое значение придавалось импортной одежде и другим «видимым» товарам, которые были свидетельством статуса их обладателей. Принадлежность к привилегированной группе увеличивала как общие карьерные, так и повседневные возможности, а потому столь важны были символы идентификации с ней: например, подписные издания дома как знак принадлежности к интеллигенции. Именно поэтому так невероятно силен был в конце 1980-х интерес к публикациям ранее лежавших «на полках» или запрещенных произведений: их неожиданная доступность давала ощущение того, что старые социальные разделения начали исчезать, что наступает свобода, что иерархии рушатся... чтобы впоследствии быть замененными другими.

Среди интеллигенции как относительно привилегированной группы⁷ одним из символов статуса была возможность изучать то, что доступно не всем: читать выведенные из публичного доступа тексты (они были «ценным товаром»), заниматься научными темами, которые требовали знакомства с западной литературой (доступ к библиотечному спецхрану был доказательством доверия со стороны власти) и т.д. Те, кто был допущен к профессиональному чтению современной западной философии или социологии или к западному кино, представляли собой избранное сообщество исследователей, которые могли заниматься марксистской критикой буржуазных, как это тогда называлось, социальных и политических теорий (иное отношение к ним не допускалось). Необходимыми (но недостаточными) условиями для вхождения в него были: 1) проживание в Москве и иногда в Ленинграде, где располагались соответствующие научные структуры (в Минске, например, нельзя было даже официально заниматься зарубежной литературой: допускалась только лингвистика;

о философии, социологии и других социальных дисциплинах речь не могла идти вообще); 2) образование, полученное на соответствующем отделении одного из «главных вузов»; прием на такие отделения мог быть от 10 до 25 человек на всю страну (национальным республикам иногда давались квоты); 3) работа, как теперь говорят, в *think tank* типа Института США и Канады, Института международного рабочего движения (третье было почти невозможно без второго); 4) обычно членство в КПСС, т.к. только истинным коммунистам партия и правительство доверяли знакомство с буржуазной мыслью, не боясь, что они окажутся подвержены ее тлетворному влиянию.

Во время перестройки в русле процесса делигитимации советского знания и одновременного расшатывания социальных иерархий в крупных городах стали складываться группы по освоению (изучению, обсуждению, распространению) различных форм «западного» или «нового» знания. Они имели форму научных семинаров, заседаний клубов книголюбов или кинолюбителей (что давало возможность смотреть редкое, запрещенное кино) и т.д. Такой интеллектуальный активизм описан болгарской исследовательницей Мигленой Николчиной в эссе «*The Seminar: Mode d'emploi. Impure Space in the Light of Late Totalitarianism*»⁸. Рассказывая о философском «семинаре», объединявшем академических работников и ставшем в некотором смысле «кузницей» новых интеллектуальных кадров, а также каналом, по которому в научную среду проникали новые теории (там обсуждались психоанализ, феминизм, немарксистская философия и т.д.), она проводит неявную связь между «семинаром» и политической оппозицией, а также рассматривает его как инструмент, посредством которого непартийные интеллектуалы явочным порядком начали занимать место в возникающем публичном пространстве. В 1989 г. сотни участников «семинара», хотя и не являвшиеся в строгом смысле диссидентами, но выстроившие свои новые «карьеры» в альтернативной официальной академии структуре, вышли на улицы.

В этом общем контексте в русский язык пришло и слово «гендер», введенное в обиход «академическими» женщинами столичных городов, которые начали заново формулировать значимый для них, но не имеющий в СССР названия «женский вопрос», создали первые феминистские группы и, собственно, стали авторами нового дискурса. Создательница Московского ЦГИ Анастасия Посадская объясняет заимствование термина следующим образом (эту цитату приводит Сергей Ушакин в работе о гендере в России, он же дает анализ ситуации):

Следуя за дискуссиями среди феминисток, было решено ввести в русский язык слово «гендер», чтобы избежать всяких ложных коннотаций и создать ситуацию, когда людям будет интересно содержание незнакомого слова. Введение концепции «гендера», с одной стороны, позволило

расширить различия между биологической и социальной сторонами в конструировании фемининности и маскулинности... с другой стороны, оно явилось важным инструментом для того, чтобы избежать критики относительно «забвения мужчин». Но, что было особенно важно, оно открыло возможность введения женских исследований в России в глобальные феминистские дебаты, позволяя преодолеть их историческую изоляцию, как и претензию (ненамеренную) быть «совершенно специфическими»⁹.

Концепт гендера был введен в публичный обиход теми, кто, работая в академических структурах, ощущали там свою маргинальность *как женщины*. Однако термин этот они могли знать благодаря возможности изучения не всем доступных текстов с целью их «марксистской критики», иногда – благодаря поездкам за границу с родителями или в научные командировки, контактам с западными интеллектуалами и исследователями и вообще научному и «человеческому» проживанию в том месте и той среде, где было возможно освоение западной парадигмы социального знания. Очевидно, это слово (т.е. стоящий за ним концепт) отвечало тем «тревогам», которые беспокоили многих (пост)социалистических женщин и которые не могли быть описаны в привычных категориях социального анализа. «Как социологи-феминистки мы переживали и переживаем отчужденность социологических текстов основного русла от нашего собственного опыта (см. Д. Смит), каждый из нас знаком с ощущением “расколотой идентичности” (см. Р. Брайдотти), чувствовал отличие женской морали от мужской (см. К. Гиллиган), сложности совмещения дискурсов публичной и приватной сфер (см. Б. Эльштайн)», – объяснили Анна Темкина и Елена Здравомыслова в статье о феминистском переводе, почему они *не могли не стать* феминистскими исследовательницами¹⁰. Термин «гендер» давал *имя* (в пушкинском смысле «ужели слово найдено?») прежде аморфной текстуре личного опыта целой группы. В определенном смысле «гендер» – как способ осмысления себя и общества – был ответом на вопрос о том, что происходило с нами помимо и вне нашей воли. Мы стали участницами огромного социального сдвига, который происходил «через нас»: наши тела (которые мы стали ощущать по-другому) и судьбы; он осуществлялся нами и вместе с тем вне нас: мы не могли им управлять. Именно это имел в виду в свое время К. Маркс, когда писал, что люди сами делают свою историю, но делают ее в тех рамках, которые сложились, а «гендер» был тем первым «словом» разворачивающейся вокруг эпохи, которое помогало по-новому структурировать социальную реальность и помещать себя и других в некоторые значимые позиции.

Вместе с тем, «гендер» (т.е. сообщество людей, которые тогда знали, что это такое) вовлекал нас в ту самую деятельность и образ жизни, которые формируют восприятие окружающего и отношение к нему. «Гендер» был связан с

новыми формами общения, встречами с другими людьми, знакомством с другими текстами (а потом и созданием этих текстов на своем языке, не обязательно русском), с чувством солидарности и некой общей тайны или, скорее, сакрального знания, т.е. непосредственно с производством субъектности. Мишель Фуко в одном из своих интервью говорил, что с грустью вспоминает времена, когда гомосексуальность была под запретом и те, кто ее практиковал, как бы принадлежали к тайному сообществу, поддерживали друг друга, были связаны «общим делом», если можно так выразиться. «Гендер» вначале, когда он только появился у нас, был чем-то подобным. В то же время он был инструментом смены научной парадигмы и способом вхождения в другую научную жизнь.

С распадом СССР стало возможным возникновение «независимых» (т.е. негосударственных) университетов и исследовательских центров. Они появились в рамках процесса освобождения знания от советско-феодалных оков, от отсталости и провинциализма и в то же время из желания интеллектуалов работать с новыми теориями и работать по-новому, т.е. изменить саму роль, которую играет в обществе академия и интеллектуалы как группа. Иначе говоря, стать чем-то, что сродни западному понятию «интеллектуал» – т.е. признаваемым обществом *экспертом* и формирующим на основании обладания *знанием* политику (в то время как при социализме политику формировала *партия*). Почти все постсоветские независимые научные структуры либеральной направленности, а также культурные инициативы (журналы, издательства) возникли при серьезной западной финансовой поддержке, возможной потому, что они рассматривались как организации, способные стать проводниками новых, демократических идей и воплощением новых профессиональных отношений, основанных на инициативе и активности сотрудников. Таким образом, во вдохновенном процессе освоения вдруг открывшегося мира, что стал тогда возможным для постсоветских исследователей еще и в связи с возникновением новых независимых государств, культура и наука оказались непосредственно политическими сферами. Децентрализация, всегда увеличивающая возможности местных элит, на практике означала, что за американской визой уже не надо ехать в Москву и лететь в Америку не обязательно из Шереметьева. Международные фонды открывали свои офисы не только в Москве, но и в новых национальных столицах (Минске, Киеве, Ташкенте, Алматы) – что ранее было немислимо, искали для них сотрудников, членов советов и местных экспертов, на чье мнение можно было положиться при оценке проектов. Тем самым создавалась новая категория «работников умственного труда», обладающих особым статусом благодаря своим отношениям с Западом. Слово «стипендия» обрело новый смысл: стало возможным найти деньги для проведения исследования, для поездки на конференцию, для работы в Библиотеке Конгресса США. Новая структурная ситуация, изъяв контроль над распределением ресурсов из рук старых партийных элит, предоставила непредставимые прежде возможно-

сти как новым «часовым при западной помощи» (частично выросшим из партийных и комсомольских структур), так и тем, кто виделся непосредственными агентами демократических перемен¹¹, т.е. собственно исследователям и вообще интеллектуалам. Запад поддерживал новые культурные и гражданские инициативы, опираясь на свои представления о том, из чего складывается демократия и кто может быть ее проводником.

В этом контексте как воображаемая основа будущего гражданского общества формировался постсоветский «третий сектор», который «являлся проектом политического убеждения, посредством которого предполагалось преобразовать якобы безответных и пассивных советских людей в активных граждан, сознательных потребителей, защитников собственных прав и интересов»¹². «Все гендерное» сначала относилось к третьему сектору и финансировалось как его составляющая, т.к. гендерное равенство, но уже не в советском смысле оплаченного государством декретного отпуска и системы социальной защиты, детских садов и пионерлагерей, а в «несоветских» терминах «независимости», «автономии», «прав человека», «права на собственное тело» и т.д. является идеологически важной частью этого проекта. «Автономия» и «права человека» предполагают совсем другое, отличное от социализма общественное (прежде всего экономическое) устройство: сообщество свободных автономных граждан виделось воплощением той новой «справедливости прав» и «равных возможностей», путь к которой открыл распад СССР и возникновение рыночных отношений. В западной поддержке или, скорее, попытке формирования постсоветского женского движения – причина описанной в начале статьи тенденции: неразличении их активистами собственно политических, связанных с гражданской активностью, и научных инициатив, т.к. вначале те и другие шли в одной связке.

ГИ как научное направление оказались встроены в общий контекст эпистемологической «вестернизации», но в отличие от визуальных исследований, социальной антропологии или других новых научных направлений они имели прямое отношение к «демократизации» и «правам человека», а потому и особый статус. Грантовая политика западных фондов катализировала освоение гендерных исследований, т.к. развивается то, что финансируется прямо или косвенно. Постсоветское государство перестало быть единственным источником средств существования академии, и благодаря «Соросу, Кеннану, Гарриману, Гарварду, Форду», перечисляет Лора Энгельштайн американских доноров постсоветской науки¹³, гендерные исследования (не только они, конечно) как часть западного знания в принципе и существуют в нашей части света. Я не знаю ни одной гендерной программы ни в одной из постсоветских стран, которая существовала бы без западной поддержки, если иметь в виду не отдельные факультативные курсы, а центры или целостные проекты; а взаимодействие с донорами всегда предполагает освоение тех идеологий и ценностей, которые

они продвигают¹⁴, даже если отсутствует прямая директива относительно содержания или выводов исследований.

ГИ являются западным знанием, независимо от того, кто его производит: американские исследователи, ученые из постколониальных стран или постсоветские феминистки. Дело не столько в том, что это знание зачато, рождено и вскормлено западной академической средой и теоретической мыслью и, описывая «незападный» опыт, тем не менее исходит из западных концептов. Гораздо важнее то, что без «Запада» как локуса власти эти теории и тексты, многие из которых исходят из других представлений о нормативности и научности текста, оказываются в нашей академии лишены дисциплинарной легитимности и не имели бы возможности преодолеть «академическую цензуру», под которой, говоря о производстве символических продуктов, П. Бурдьё понимал «структуру поля, которое определяет возможность выражения, определяя как доступ к средствам выражения, так и его форму». Попросту говоря, эти тексты нельзя было бы напечатать, эти курсы нельзя было бы читать, эти конференции нельзя было бы проводить. Элиты всегда контролируют знание, и академии являются иерархиями, которые достаточно консервативны и функционируют, воспроизводя себя, а гендерные исследования – это знание откровенно новое, другое, провокационное, с традиционной точки зрения часто «неправильное»¹⁵. Не признавая его, традиционная академия защищает себя от деконструкции посредством проникновения «чуждого» знания, т.к. капитал ее сотрудников основывается на иной традиции, и смена «парадигмы» грозит им потерей статуса.

Легитимировать новое знание – учитывая, что в социальных науках истина необъективна и связана с властью – может только опора на признанную, не позволяющую в себе сомневаться силу, которой в данном случае является Запад. «Международное признание» (и те возможности, которые его сопровождают) позволяло первым постсоветским профессиональным исследователям гендера символически перечеркнуть сложившуюся академическую иерархию, создав параллельно ей свои собственные структуры и заняв в них значимые позиции. Возник «класс» исследователей, профессионально связанных с западной академией, в некоторых случаях даже более тесно, чем с местной.

Постсоветские феминистские исследователи, пытаясь найти свой голос, говорить по-другому, чем раньше, описать то, для чего в «старой» науке даже не было имени, оказались втянутыми в социальную ситуацию, которой, очевидно, не могут избежать. Они непосредственно связаны с западноориентированной географической, а следовательно, и восходящей социальной мобильностью. Получаемая «прибыль», выражаемая в терминах социального и культурного капитала, вырастает для фулбрайтовского или *IREX*’овского стипендиата вместе с доступом к прекрасным библиотекам, возможностью подключения к западным академическим дискуссиям, выступлениями в Библиотеке

Конгресса или публикациями в западных академических изданиях, а также информацией о проектах, связях и контактах. Кажется, что происходит то, о чем когда-то мечталось: вхождение или, скорее, приближение некоторых постсоветских исследователей к миру «глобальных» интеллектуалов и активистов. Это означает академические – они же социальные, а иногда и экономические – возможности, но более всего – новый статус в местном сообществе.

Гендерные исследования, таким образом, осуществляются за пределами официальной академии как учебной и исследовательской структуры, где эта научная область не имеет своего организационного пространства: источников финансирования (если нет дисциплины, как можно выделять деньги на ее развитие?), позиций на кафедрах и учебных часов в сетке. Отсутствие концепта гендера в библиографических и иных классификациях означает отсутствие когнитивного пространства. Без когнитивных категорий нет и установленного «канона», системы оценки и рецензирования, и под видом «гендерных исследований» можно написать почти что угодно – от серьезной науки до откровенной белиберды (ср. пример в начале статьи). И если курсы по женским исследованиям не включены в учебные программы вузов (т.к. не являются дисциплиной и отсутствуют в классификаторе Министерства образования), то не существует и академического рынка для новых исследований и текстов. Невостребованные в учебном процессе, они будут всегда маргинальны, оставаясь интеллектуальной беллетристикой или экзотикой. К этому экзистенциальному списку следует добавить практическую проблему выстраивания отношений с (мужской) вузовской администрацией, воплощающей маскулинный принцип дисциплинарности. Феминистские исследователи деконструируют этот принцип своей ежедневной деятельностью, и было бы наивно думать, что академия не будет противостоять этой прямой угрозе. Для традиционной академии (университетов, ВАКа, научных советов), не желающей меняться, новые научные инициативы (не только гендерные) часто «не существуют», критерии для определения их качества не установлены, публикации в новых журналах и изданиях не учитываются при защите¹⁶ и, таким образом, признание их западной академией становится единственным источником научной легитимности. И если места для гендерных исследований обычным порядком в академии нет, их формальное присутствие можно «купить» за западный грант: «взятка» на институциональное развитие смиряет с ними академическую администрацию.

Ирония состоит в том, что ГИ создавались, чтобы построить «новую искренность» в науке, говорить «новую правду» о нас, найти свой голос и заставить его услышать, совершив такой же переворот в гуманитаристике и самой организации академии, который они произвели в западной науке. Вместо этого престижная «новая гуманитаристика» – теоретически инструмент демократизации в производстве знания – стала линией социального разделения, оставив за бортом огромное академическое сообщество тех, кто в свое время не обла-

дал доступом к «новому знанию», не оказался в нужное время в нужном месте, не знал иностранных языков (язык гендерных исследований – английский), не проживал там, где было возможно общение с иностранцами (хотя географическая отдаленность не всегда является причиной и «мракобесные» гендерные книги могут быть изданы в Москве), не попал на стажировку в американский университет, не имел доступа к западным текстам и библиотекам, к сети Интернет, к информации о международных проектах и инициативах. Испытывая проблемы как женщины и как исследователи и пытаясь их осмыслить, либо просто желая соответствовать моде или попасть туда, где «хорошо платят» (наука – область социального, и ничто человеческое ей не чуждо), они начали обращаться к той научной традиции, которая была под рукой и – главное – которая была бы легитимна, признана и востребована в той академии, частью которой они являются. Значительная часть этого знания подпадает под вновь созданные названия «феминология» или «гендеристика» и представляет собой более всего дискурсивное возвращение к традиционной женственности¹⁷. Иначе говоря, является антиподом гендерной и вообще современной социальной теории, настаивает на антагонизме мужского и женского, природной обусловленности социального, изучает «роли» и «стереотипы» и подменяет новую теорию старой. В этой перспективе категория гендера из того, что *требует* объяснения (почему мужчины и женщины различны?) превращается в *объяснение* различия (женщины и мужчины различны, потому и ведут себя по-разному)¹⁸. Подобным же образом провокационная «гендерная история» становится традиционной историей выдающихся женщин либо же прославлением материнского начала, а «гендерная лингвистика» – наукой о различиях в речи мужчин и женщин.

Кто-то из российских исследователей назвал это явление ложными ГИ. Галина Брандт определяет его суть как подмену термина и «вымывание из него критической сердцевины»¹⁹; Ирина Савкина рассматривает тот же феномен в разделе своей статьи под заголовком «гендер как бренд»²⁰; Сергей Ушакин пишет о «полезной категории для научной карьеры»; Галина Зверева обозначает этот процесс «чужое как свое», описывая его как использование новой вербальной оболочки для привычного референтного значения²¹; Александр Першай в известной статье о постсоветской гендерной лингвистике называет происходящий процесс «колонизацией наоборот»²². Провокационная новая теория оказывается «колонизированной», поглощенной старой, новые концепты утрачивают свое радикальное содержание и используются для продвижения того самого «советского знания», которое, казалось, так бесславно исчезло пятнадцать лет назад, уступив место новой гуманитаристике. Однако с точки зрения структуры своих ресурсов, оценки рисков и возможностей эти исследователи ведут себя абсолютно рационально. В виде «феминологии» ГИ могут продвигаться Министерством образования в тех случаях, когда Совет Европы либо

еще какие-то международные грантодатели требуют от постсоветских правительств соответствия стандартам гендерного равенства, поэтому, несмотря на непринятие ГИ традиционной академией, формально количество факультативных «гендерных» курсов и полуофициальных научных центров растет. Поскольку, как указывалось выше, канона гендерных исследований нет, доказать, что это «не тот гендер», невозможно. Формально Министерство опирается на советы людей, являющихся докторами наук. Постсоветская академия является сильным инструментом производства знания и, несмотря на недостаток ресурсов, не только успешно защищает себя от деконструкции посредством другого знания, но и использует его ресурсы в своих интересах для развития традиционных областей. «Гендер» на нашем пространстве перестает быть тем, ради чего этот концепт был выработан: средством критического осмысления, деконструкции и *изменения* мира.

В заключение: классовый вопрос постсоветского феминизма

Питер Бергер когда-то писал, что социология является попыткой понять (общество)²³. Концепт гендера возник именно как попытка понять и назвать, а его заимствование означало готовность (части) общества принять это объяснение социальной жизни, т.к. «...любой терминологический импорт ключевых понятий превращается в импорт эпистемологический, выполняющий не вспомогательную, техническую, обслуживающую, а скорее ведущую теоретическую функцию»²⁴. Поэтому в заключение я попытаюсь объяснить, почему, с моей точки зрения, новая теория появилась одновременно с деконструкцией социализма, и инструментом какого процесса стала, возможно, помимо нашей воли.

Сформировавшееся в постсоветских гендерных исследованиях описанное разделение является в определенном смысле классовым. Под «классом» я понимаю организующий концепт, необходимый для исследования широкого круга проблем социальной дифференциации, доминирования и исключения, а также власти и безвластия, включающий вопросы культурной идентичности, образования, образа жизни, вкуса, практик повседневности и т.д. В этой перспективе о ГИ можно говорить по крайней мере с двух точек зрения. С одной стороны, можно говорить о «классовой» стратификации самих исследователей. Если знание – главный капитал в постиндустриальном обществе – равносильно власти, а ее инструментами являются язык и дискурс, то доступ к «властному» знанию становится линией социального разделения в соответствии с различной «структурой ресурсов», рисков и возможностей исследователей. Те, кто имел дело с организацией гендерных конференций или летних школ, составлением сборников и т.д., знают, что то, какую концепцию гендера артикулируют аппликанты, в значительной степени связано с конкретными социальными

ми условиями их жизни: где они живут – в больших городах или поменьше, на западе или на востоке, знают ли английский язык, где учились, как часто выезжали за рубеж и насколько для них доступна сеть Интернет. Это означает, что «причины, по которым авторы придерживаются определенных взглядов, часто связаны не с собственно научной аргументацией; они придерживаются этих взглядов в значительной мере или даже исключительно из-за некоторых обстоятельств, являющихся частью того социального контекста, в котором они работают»²⁵.

С другой стороны, критерий «класса» касается содержания знания, т.е. определяет то, что принимается за фундаментальную причину угнетения женщин, каким видится социальное устройство и, соответственно, за что и с чем надо бороться.

Обобщая, это можно представить следующим образом. Как известно, при социализме женский вопрос считался в целом решенным, потому что в классической марксистской теории угнетение женщин (их, как писал Ф. Энгельс, всемирно-историческое поражение) связано с возникновением частной собственности. Считалось, что с ее ликвидацией и исчезновением классов исчезнет и гендерное неравенство: ему просто неоткуда будет взяться, и поэтому проблеме гендерного равенства следует решать посредством приобщения женщин к оплаченному труду и соответствующего социального распределения ресурсов, т.е. выделения общественных средств на детские сады и декретные отпуска и т.п. Гендерная же теория в целом исходит из того, что пол является самым первым социальным разделением и первичным способом означивания отношений власти, с чего, собственно и начинается общество. Все остальные социальные категории, в том числе категория класса, выстраиваются уже вокруг полового разделения и всегда включают его в себя. Угнетение женщин есть результат мужского доминирования во всех сферах – от сексуальной до экономической, и борьба с ним прежде всего предполагает пробуждение женского самосознания и развитие женской автономии. А дальше проблему можно решать различными способами – в том числе и посредством социального распределения (в социалистическом и марксистском феминизме) – в зависимости от того, как это видит соответствующее феминистское течение.

Не рассматривая аргументы в пользу того или другого подхода (хотя историческая первичность пола кажется в современной социальной теории очевидной), важно отметить следующее. Когда начала происходить деконструкция метатеории – советского марксизма («старого знания»), переставшего отвечать на запросы общества, отказаться от него, не заместив его другой теорией (или, скорее, другими теориями), было невозможно, и гендер оказался одним из тех новых концептов, которые были для этого использованы. Как указывает Альмира Усманова, т.к. «класс» принадлежал к интеллектуальной тра-

диции, которую общество желало изменить, термин «гендер» стал замещением отвергнутого основного инструмента социальной стратификации²⁶.

Однако основным социальным процессом посткоммунизма является именно классовобразование, т.е. формирование экономического неравенства, перераспределение собственности, новые формы доминирования и исключения. Переход к другому – рыночному – способу распределения ресурсов, влекущему экономическую стратификацию, требует легитимации посредством изменения представления о социальной справедливости. Если при социализме она представлялась в виде социальной защиты, то в рамках дискурса демократизации возникла другая формулировка, ставящая во главу угла не бесплатный детский сад или декретный отпуск, а «права женщин», их представительство, автономию, независимую субъектность, право на свое тело и сексуальность. «Права женщин существуют отдельно от прав детей»²⁷, – писала «главная феминистка» Мария Арбатова, отстаивая женскую автономию. Новая формулировка женского вопроса отражала другое общественное устройство. Права, автономия и независимость являются частью либерального дискурса и связаны с собственностью, рынком и капитализмом, которые и порождают независимых субъектов, но только среди тех, кто успешен экономически.

Таким образом, гендер (вместе с некоторыми другими категориями) стал идеологическим прикрытием происходящего экономического процесса. Женское движение, формируемое при поддержке международных организаций в виде штата сотрудников на зарплате, сконцентрировалось вокруг новых тем, которые нельзя было поднимать в советской науке, т.к. они противоречили идее, что гендерное неравенство исчезает вместе с классами – насилие против женщин, в том числе сексуальное, трафик, домогательства и т.д. Это позволило привести либеральную идеологию, заставить говорить на новые темы, требовать прав, реформ, постановлений, следования «международным конвенциям», но вместе с тем отвлечься от ключевого «вопроса собственности», а также в какой-то мере «разделить» женщин и мужчин, представив их противоборствующими сторонами. Такое смещение фокуса, которое, очевидно, можно определить в марксистских терминах формирования ложного сознания у угнетенных групп, есть обратная сторона классовобразования. Невольно, но как часть женского движения ГИ оказались по одну сторону с международным капиталом при продвижении – в виде «демократии» и «прав человека» – стратификации и капитализма.

Не удивительно поэтому, что «феминизм» как идеология стал в постсоветском пространстве достоянием элит, проповедовавших рынок и экономический либерализм, а также успешных женщин, заинтересованных в продвижении наверх. В феминистском сообществе русскоязычного живого журнала одна пользовательница так объяснила, почему, по ее мнению, феминизм не нужен женщинам рабочего класса и доступен только «продвинутым» женщинам:

Вообще-то, работающая высококвалифицированная женщина обеспечивает заработком несколько малоквалифицированных, которые в противном случае сидели бы дома при Джоне, Хуане или Педро. Разумеется, малообеспеченным слоям самореализация в карьере не светит. Она им попросту не нужна, ни женщинам, ни мужчинам. Если кому-то нужна самореализация, и он(а) обладает достаточными способностями, он(а) делает карьеру и выходит в средний класс. Интересы рабочего класса ограничены бытом и досугом. Естественно, не имеет смысла бороться за то, что им самим не нужно. В отношении рабочего класса другие области борьбы феминизма, и на первом месте насилие в семье. Представительницы рабочих слоев подвергаются домашнему насилию намного чаще, чем женщины среднего класса, а помощь ищут намного реже. Это – довольно широкое поле деятельности для феминизма²⁸.

Собираясь баллотироваться в Думу по университетскому округу Москвы, где «самое большое количество людей с высшим образованием в России и самое большое количество людей с научными степенями», М. Арбатова замечает: «Именно это меня и привлекает, поскольку моя феминистская политическая программа может быть понятна только в таком округе»²⁹. Феминистская риторика в целом не получила поддержки тех женщин, которые более всего пострадали в результате посткоммунистической дифференциации: живущих в провинции, занятых в государственной сфере и не имевших возможности «начать совместный бизнес с итальянцами». Права женщин существуют отдельно от прав детей у тех, кто может нанять няню; речь же о ее «женских правах», доведенная до логического завершения, привела бы к проблеме класса и распределения. Однако этого не происходит: несмотря на то что текстов об экономической маргинализации женщин в наших ГИ немало, они не касаются глобального распределения капитала и в лучшем случае туманно говорят о «социальной защите». Некоторое время назад подписчики электронного листа рассылки по гендерным исследованиям, модеримуемого Харьковским ЦГИ, начали дискуссии о том, как ГИ и феминизм принимаются обычными женщинами. Подписчица из Томска тогда написала:

Часто по утрам по пути на работу я думаю о том, нужны ли женщинам наши исследования. Наши рассуждения о гендере, свободе и духовном освобождении... Недавно мы делали проект по гендеру, и участвовавшие в нем аспирантки не были феминистками. Мне, взрослой женщине, казалось, что они боятся, что мужчины, общество и люди вокруг них их не поймут³⁰.

Окружающие ее женщины не считали, что феминизм имеет какое-то отношение к их повседневным проблемам. Его просвещенные идеалы защищали

в той дискуссии две участницы: обе они писали диссертации по ГИ – одна в Австрии, другая в Германии. Одна из них написала:

Если спросить, являюсь ли я феминисткой, моим ответом будет однозначное «да», и это не зависит от общества или ситуации вокруг меня, потому что феминизм – это не противопоставление окружающему миру, а конструктивное желание сделать его лучше ... [...] И поэтому я пишу свою диссертацию по-немецки в Бремене, где, может быть, не самый лучший климат, но таким образом мои родители в России могут позволить себе лекарства, и у меня нет проблем с книгами и другими источниками и – что самое важное – меня принимают здесь всерьез³¹.

Хотя эта участница дискуссии уверена в своей незаинтересованности, ее «классовый» интерес здесь очевиден. Пьер Бурдьё называл интеллектуалов угнетаемой группой угнетающего класса. Являясь главными производителями смыслов, субъектами националистических, гендерных и прочих дискурсов, говоря от имени «других», они артикулируют интересы восстающего класса, хотя сами не обязательно оказываются в выигрыше от того нового социального порядка, который проповедают. Что, конечно, не означает, что они не имеют в этом своих собственных интересов.

Создается впечатление, что наш «гендер» затрагивает вовсе не те социальные темы, которые постсоветские женщины видят причиной своих проблем, а, напротив, отсылает к тому, что не принадлежащие к элитам женщины вряд ли бы считали причиной ухудшения своего статуса. Если сексуальные домогательства (или обмен сексуальностью на оплачиваемую работу) стали широко распространены (и иногда являются частью «рабочего контракта» для молодых и привлекательных женщин), то является ли это результатом «сексизма» или «патриархата», или также и «продуктом» новой экономической и классовой иерархии, когда бизнесы («средства производства») перешли в частную собственность? Раньше, как помнят женщины моего поколения, начальник в принципе мог «приставать», но никогда у него не было над тобой той власти, которую имеют некоторые боссы сейчас, и в целом можно было найти на него какую-то «управу». Если сексуальный трафик становится все более видимым, то следует ли бороться с ним путем открытия шелтеров и горячих линий (которые, безусловно, нужны)? Может, надо подумать о том, почему молодые женщины ищут работу за границей? Что, конечно же, потребует глобального пересмотра отношений между постсоветским пространством и остальным миром. И если женщина в маленьком армянском, украинском или белорусском городке потеряла работу и веру в себя, может ли ей помочь семинар по развитию самосознания? Безработной она является потому, что единственное градообразующее предприятие закрыто, и в таком случае ее муж так же безработен,

как и она. И тогда гендер «сам по себе» является проблематичным инструментом для концептуализации постсоветского неравенства...

Как пишет Джоан Скотт, женщины Восточной Европы (она имеет в виду весь постсоциалистический регион) давно находятся в составе рабочей силы и научились подходить к своим проблемам стратегически³². Очевидно, они не принимают тот политический либерализм «прав», который не бросает вызова экономическому неравенству и может означать только отдельные реформы, впрочем, маловероятные в связи с отсутствием у женщин как группы собственного голоса. Но может быть, тот путь, который проделали ГИ за эти пятнадцать лет, вместе с теми людьми, которые этим жили – и меняли свои судьбы, свои семьи, помогали другим и сами становились другими и были часто счастливы оттого, что поняли что-то про этот мир – может быть, этот путь окажется не напрасным? Феминизм может быть различным в зависимости от того, откликом на какую конфигурацию социальных отношений он является, и мы сможем найти тот вариант феминизма, который будет говорить о нас и станет инструментом нашей – именно нашей – борьбы?

-
- ¹ Brooks, David. *Bobos in Paradise. The New Upper Class and How They Got There* (Simon and Schuster, 2001), p. 39.
- ² Burke, Peter. *A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot* (Polity, 2000).
- ³ Scott, Joan W. «Fictitious Unities: “Gender”, “East”, and “West”», *Paper presented at the 4th European Feminist Research Conference*, Bologna, Italy, September 29, 2000.
- ⁴ Ушакин Сергей. «“GENDER”(НАПРОКАТ): полезная категория для научной карьеры?», *Гендерная история: pro et contra* (СПб.: «Нестор», 2000), с. 34-39.
- ⁵ Kusch, Martin. «The Sociology of Philosophical Knowledge: A Case Study and a Defense», in Kusch Martin ed., in *The Sociology of philosophical Knowledge* (Kluwer Academic Publishers, 2000), p. 27.
- ⁶ См. Гапова Елена. «О гендере, нации, классе в посткоммунизме», *Гендерные исследования*, 2004, № 13. Елена Гапова. «О политической экономике “национального языка” в Беларуси», *Ab Imperio*, 2005, № 3.
- ⁷ О статусе интеллигенции при социализме см., например, King, Lawrence and Šzelenyi, Ivan. *Theories of the New Class. Intellectuals and Power* (Minneapolis, 2004).
- ⁸ Nikolchina, Miglena. «The Seminar: Mode d’emploi. Impure Space in the Light of Late Totalitarianism», *Differences*, vol. 13, no. 1, 2002.

- ⁹ А. Посадская. «Женские исследования в России: перспективы нового видения», *Гендерные аспекты социальной трансформации*, под ред. Малышевой М. (М., 1996), с. 21.
- ¹⁰ Здравомыслова Е., Темкина А. 2000. «Введение. Феминистский перевод: текст, автор, дискурс», *Хрестоматия феминистских текстов. Переводы*, под ред. Здравомысловой Е., Темкиной А. (СПб.: Изд-во Д. Буланин), с. 5-28.
- ¹¹ Wedel, Janine R. *Collision and Collusion. The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe* (Palgrave, 2001), p. 88.
- ¹² Hemment, Julie. «The Riddle of the Third Sector: Civil Society, International Aid, and NGOs in Russia», *Anthropological Quarterly*, 2004, № 77.2, p. 215.
- ¹³ Engelstein, Laura. «Culture, Culture Everywhere: Interpretations of Modern Russia, Across the 1991 Divide», *Kritika*, 2001, № 2 (2), Spring, p. 365.
- ¹⁴ См. Wedel, Janine. *Collision...*
- ¹⁵ Об отношениях в постсоветских гендерных исследованиях «чужого» и «своего» и их взаимодействии см. Зверева Галина. «Чужое, свое, другое: феминистские и гендерные концепты в интеллектуальной культуре современной России», *Адам и Ева. Альманах гендерной теории*, № 2 (М.: ИВИ РАН, 2001), с. 238-278.
- ¹⁶ См. Усманова Альмира. «Философия и позиция критического интеллектуала сегодня», *Топос*, № 10 (Минск, 2005), с. 40-62.
- ¹⁷ См. Здравомыслова Е., Темкина А. *Op.cit.*
- ¹⁸ Першай Александр. «Колонизация наоборот: гендерная лингвистика в бывшем СССР», *Гендерные исследования*, № 7-8 (Харьков, 2002), с. 236-249, <http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/78.html>.
- ¹⁹ Брандт Галина. «Гендерные исследования в России: особенности и проблемы», *Гендерные отношения в современной России* (Самара: Самарский университет, 2003), <http://www.genderstudies.info/social/s23.php>.
- ²⁰ Савкина Ирина. «Что русскому здорово, то немцу смерть, или Что раздражает русских в западной и отечественной феминистской критике», рукопись.
- ²¹ Зверева Галина. «Чужое, свое, другое...».
- ²² Першай Александр. «Колонизация наоборот...» .
- ²³ Berger, Peter. *An Invitation to Sociology* (1963), p. 5.

- ²⁴ Ушакин С. «Поле пола: в центре и по краям», *Вопросы философии*, 1999, № 5, с. 71.
- ²⁵ Gracia, Jorge. «Sociological Accounts and the History of Philosophy», in Kusch Martin (ed.), in *The Sociology of Philosophical Knowledge* (Kluwer Academic Publishers, 2000), p. 194.
- ²⁶ Ousmanova, Almira. «On the Ruins of Orthodox Marxism: Gender and Cultural Studies in Eastern Europe», *Studies in East European Thought* (2003), p. 55.
- ²⁷ Арбатова Мария. *Как я пыталась честно попасть в Думу* (М.: «Эксмо», 2003), с. 44.
- ²⁸ <http://community.livejournal.com/feministki/>
- ²⁹ Арбатова Мария, там же, с. 93.
- ³⁰ Сообщение от Татьяны (dtm@admin.tomsk.ru) на адрес <gs_discussions@kcg.org.ua> 15 октября 2003.
- ³¹ Сообщение от Марии (kma@pisem.net) на адрес <gs_discussions@kcg.org.ua> 15 октября 2003.
- ³² Scott, Joan. «Some More Reflection on Gender and Politics», p. 213.